

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1995 г. А. КРЕЧМЕР

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

1. Процесс образования и специфика исторического развития русского стандартного (литературного) языка и сегодня является одной из центральных тем исторической русистики. В настоящей работе не ставится и не может ставиться цель дать исчерпывающий обзор и критический анализ научной дискуссии по этому вопросу на всем протяжении ее развития¹. Основная ее цель — представить современное состояние дискуссии, ее ключевые проблемы и вопросы, многие из которых все еще остаются нерешенными и относятся, по выражению А.А. Алексеева, к "проклятым" вопросам истории русского литературного языка [Алексеев 1986: 3]. А поскольку вопросов таких немало, включение их в данный обзор неизбежно влечет за собой сжатость изложения.

2. Центральными вопросами дискуссии о происхождении и формировании современного русского литературного языка являются, на наш взгляд, следующие: 1) локализация нижней временной границы того феномена, который в русистике традиционно обозначается термином "литературный язык"; 2) языковая основа этого феномена; 3) вопрос прерывности/непрерывности его развития.

Вопросы эти находятся во множественной причинной связи не только друг с другом, но и с другими, не менее, на наш взгляд, важными, речь о которых будет идти несколько позже. Здесь мы ограничимся лишь кратким обзором основных позиций по названным вопросам.

ad 1) В вопросе о начале образования русского литературного языка достаточно четко представлены два полюса. Так, для одних начало это совпадает с моментом принятия христианства — такую позицию традиционно занимают как русская (советская) школа, так и большая часть западных славистических школ. Для других период с 988 г. по XVII в. является лишь предысторией русского литературного языка, а сама эта история начинается только с XVIII в.² Связь этого вопроса с вопросами прерывности/непрерывности истории русского литературного языка и ее периодизации очевидна.

ad 2) Наиболее полемично обсуждался и обсуждается в диахронной русистике вопрос о языковой базе русского литературного языка — как современного, так и донационального. Для старшего периода, для эпохи Киевской и Московской Руси, это, прежде всего, вопрос о роли и удельном весе ц.-слав. (по терминологии Н.И. Толстого, "древнеславянского") и вост.-слав. (русского) языкового материала в древне-

¹ Подробному анализу этой дискуссии до середины 80-х гг. посвящена наша работа [Kretschmer 1986].

² Такая позиция наиболее четко представлена в работах Исаченко, Успенского и Хюттль-Фольтер. Тезисы о существовании литературного языка у восточных славян в дохристианский период, ввиду их очевидной спекулятивности, здесь далее не рассматриваются [Филин 1981: 191 и сл.].

русской письменности. Здесь также наблюдается поляризация мнений, наиболее четко представленная, пожалуй, в известных работах С.П. Обнорского, а также Ф.П. Филина, с одной стороны, и Б.О. Унбегауна, с другой (в несколько смягченной форме и в работах дореволюционных русистов, например, Шахматова, раннего Виноградова и Соболевского). Согласно первой из этих концепций, роль ц.-слав. языка в образовании русского литературного языка была очень незначительной; согласно второй, язык этот, по крайней мере, в донациональный период, играл главную роль (Унбегаун идет еще дальше и постулирует такое положение и для национального периода) [Унбегаун 1970; 1971].

В научной литературе отражаются также промежуточные подходы, как, например, известная теория В.В. Виноградова о двух стилях русского литературного языка донационального периода [Виноградов 1958], тезис о многостилевости этого языка [Ефимов 1957]; сюда же относятся и различные теории языкового дуализма в допетровской Руси, которым будет уделено внимание в настоящей работе.

В дискуссии по этому вопросу принимают, по понятным причинам, участие прежде всего сторонники непрерывности развития русского литературного языка. Для их противников вопрос о соотношении различных языковых систем в донациональный период не является релевантным, поскольку точку отчета истории русского литературного языка они ведут лишь с XVIII в. и важными факторами для них, таким образом, являются литературные языки Западной Европы и их роль в формировании русского литературного языка.

ad 3) В большинстве работ и сегодня еще представлен традиционный постулат непрерывного и поступательного, эволюционного процесса развития русского литературного языка, в соответствии с которым XVII веку и Петровской эпохе отводится роль временной границы, разделяющей донациональный (древнерусский) и национальный периоды русского литературного языка. Постулат прерывности развития русского литературного языка в первую очередь связан с именем А.В. Исаченко, для которого время петровских преобразований является одновременно и временем разрыва с допетровской письменной и литературной традицией и, в связи с этим, языковой цезурой, языковой "ничейной полосой" ("Sprachliches Niemandsland"). Начало формирования русского литературного языка он относит ко второй половине XVIII в., постулируя при этом сильнейшее влияние западноевропейских языков, точнее, уже существовавших в Европе моделей литературного языка с развитой письменной и устной формами [Issatschenko 1983: 528—616]. В то время как Исаченко отрицает всякую преемственность между этим новым формирующимся русским литературным языком и допетровской традицией письменности и книжности, Г. Хюттль-Фолтер склонна говорить скорее о переориентации, о смене модели, но не о полном разрыве со старой традицией [Hüttl-Folter 1979; 1987; Хюттль-Фолтер 1982; Хюттль-Уорт 1968; 1973; 1974].

3. В ходе дальнейшего изложения мы нередко будем возвращаться к вышеназванным вопросам дискуссии, поскольку, как уже говорилось, они неразрывно связаны со многими другими вопросами истории происхождения и формирования русского литературного языка, рассмотрению которых посвящены следующие разделы нашего обзора.

Вопросов этих немало, важнейшими из них являются, по нашему мнению, следующие:

- 1) наличие/отсутствие диглоссийной ситуации в Древней Руси;
- 2) определение объекта исследования (экстенсionalный аспект) и тесно с ним связанная
- 3) терминологическая проблематика, т.е. вопрос о правомерности и адекватности термина "литературный язык" и конкурирующих с ним понятий "стандартный язык", "письменный язык" и т.п. — проблематика, по сути своей, скорее стратификационная, имеющая, однако, большое значение и для истории русского литературного языка;

4) периодизация истории русского литературного языка;
5) специфика некодифицированной языковой нормы и механизмов ее регулирования;

6) специфика средневековой культуры вообще и культуры православного славянства в особенности (т.е. постулат культурного ареала *Pax Slavia orthodoxa*).

Автор настоящей работы ставит своей целью не только дать критический обзор актуальной дискуссии по названным проблемам, но и проанализировать причины как отсутствия консенсуса по этим и другим центральным вопросам, так и неэффективности этой, наверное, самой долгой дискуссии в исторической русистике.

4. Теория диглоссии, развитая социолингвистом Ч. Фергюсоном на (синхронном) материале четырех диглоссийных ареалов [Ferguson 1959] и перенесенная Б.А. Успенским на языковую ситуацию допетровской Руси [Успенский 1983, 1983а; 1985; 1987; 1994], уже более девяти лет будоражит умы и сердца русистов. Поскольку основные положения как модели Фергюсона, так и ее адаптации Успенским в настоящее время можно считать общеизвестными, основное внимание будет в дальнейшем уделено рецепции модели Успенского в исторической русистике, причем изложение по необходимости будет предельно сжатым. Считаем, тем не менее, нужным указать на некоторые черты модели Успенского, прежде всего те, где его модель отличается от модели Фергюсона. Так, Успенский адаптирует модель Фергюсона в основном путем изменения удельного веса, переоценки отдельных различительных признаков диглоссии. Важнейшим признаком древнерусской диглоссии является для него дополнительное функциональное распределение обоих языковых вариантов — *high variety* (= ц.-слав.) и *low variety* (= вост.-слав. resp. др.-русс.), а также вытекающая из этого постулата невозможность перевода с одного варианта на другой. Крайне важно для Успенского и четкое осознание временных различий в восприятии соответствующей языковой ситуации: там, где современный лингвист видит две автономные языковые системы, носитель языка в допетровской Руси видел единое функциональное целое. Такое восприятие автоматически влечет за собой невозможность дихотомического раздела на "свое" и "чужое" внутри этого целого.

Диглоссийная ситуация имеет место на Руси с момента принятия христианства до XVII в. В XVII в. принципиально стабильная ситуация диглоссии переходит в нестабильную ситуацию двуязычия, постепенно переходящую в моноязычие. В соответствии с этим Успенский различает три основных периода (донациональной) истории русского литературного языка:

1) период конвергенции (XI—XIV вв.), при котором оппозиция обоих вариантов имеет место на уровне морфем, что допускает (обоюдные!) заимствования;

2) период дивергенции, совпадающий во временном отношении с периодом так называемого второго южнославянского влияния (XIV—XVI вв.); оппозиция в это время имеет место уже на уровне лексем, что приводит к появлению феномена коррелятивных лексемных рядов в языковом сознании общества и исключает, тем самым, возможность заимствования;

3) период перехода диглоссии в двуязычие (XVII в.).

К сожалению, следует признать, что весьма оживленная полемика, вызванная появлением модели Успенского, велась и ведется не столько относительно ее принципиальной применимости к русской языковой ситуации, сколько относительно ее принципиальной допустимости. Даже будучи хорошо знакомым со стилем дискуссии о происхождении русского литературного языка, трудно понять ту страстность, с которой во многих антидиглоссийных работах отрицается и отменяется возможность участия других языков и культур в длительном и сложном процессе формирования собственного литературного языка. Так, уже некоторые хроникальные сообщения о работе X Международного съезда славистов едва ли можно воспринять как научную полемику. Такого рода ксенофобия, к сожалению, представляет собой распространенное явление и в славистике в целом — достаточно вспомнить многолетнюю борьбу

Р. Пиккио с этим пережитком романтизма, как и с другими шорами узконационального подхода к истории литературного языка, а значит, и культуры [Picchio 1962]. Анализ некоторых статей опубликованного в 1986 году в Ленинграде сборника "Литературный язык Древней Руси" [ЛЯДР 1986] показывает, что борьба эта, однако, все еще не привела к желаемым результатам. Первые четыре статьи названного сборника (почти треть всего его объема) представляют собой ясно выраженный антидиглоссийский блок. При этом необходимо, однако, отметить, что, хотя все четыре статьи и оспаривают существование диглоссии в Древней Руси, полемика в них ведется на весьма различных уровнях.

4.1. Наиболее четко выражено неприятие модели Успенского, пожалуй, в работе Клименко [Клименко 1986], которая видит в ней неоправданное упрощение языковой ситуации в Древней Руси (аргумент этот неоднократно выдвигается и другими противниками диглоссии). Кроме того, модель эта, по Клименко, априорна и не учитывает в достаточной степени языкового материала³. Приводим важнейшие контраргументы Клименко (с нашими комментариями), призванные доказать несостоятельность диглоссийной модели Успенского в применении к языковой ситуации допетровской Руси.

1) Русский язык (вост.-слав. до XIV в. — А.К.) обладал таким же престижем, как и ц.-слав. Тезис этот верифицируется Клименко на материале проповедей и житий, в которых Б.А. Ларин (sic!) обнаружил вост.-слав. языковые элементы.

Такого рода языковой материал в данном случае не является, однако, по нашему мнению, адекватным, поскольку именно в проповеди, обращенной к (как правило, неграмотной) общине и призванной, кроме прочего, разъяснять этой общине содержание соответствующих мест Евангелия и Апостола, едва ли можно ожидать чистого ц.-слав. языка. Кроме того, проповедь в истории русской православной церкви является и в других отношениях специфическим типом текста. Нельзя не заметить, что вызванное спецификой истории советского периода незнание особенностей христианства вообще и православия в особенности отрицательно сказывается на эффективности научной работы именно в области истории русской культуры, а тем самым и литературы и литературного языка.

2) Ц.-слав. язык не является нормированным.

Этот аргумент Клименко сам по себе вполне оправдан — по определению, *high variety* есть, в отличие от *low variety*, язык, обладающий кодифицированной нормой: такова ситуация в диглоссийных ареалах, исследованных Фергюсоном. Однако, к сожалению, аргументация автора и здесь оставляет желать лучшего. Так, Клименко ссылается на установленную Л.П. Жуковской практику изменения текстов переписчиками, не останавливающуюся даже перед Писанием, но не сообщает, где, когда и как вносились эти изменения.

3) Русский язык указанной эпохи являлся нормированным. Данный аргумент, безусловно, также заслуживает дальнейшего рассмотрения. Сама Клименко его, однако, никак не развивает и не подтверждает на языковом материале.

Поскольку статья Клименко уже неоднократно являлась предметом рассмотрения ([Гиппиус, Страхов, Страхова 1988]; ср. также [Kretschmer 1994]), остановимся лишь на двух моментах, достаточно отчетливо, на наш взгляд, представляющих общую интенцию полемики автора. Это, в первую очередь, постулат о том, что каждая лингвистическая теория обладает идеологической подоплекой и оказывает определенное идеологическое воздействие (с. 21)⁴. Позиция Успенского (и Исаченко, неоднократно подвергавшегося суровой критике в русистике), является, таким образом, чуть ли не изменой русской культуре: «В этой клевете на русский язык, в утверждении его немощи и неспособности к созданию и выражению духовных ценностей русского

³ Упрек этот представляется вполне обоснованным. См. мысли Й. Рекке о специфике подхода к языковой ситуации Древней Руси у Успенского [Raeske 1992].

⁴ В круглых скобках здесь и в дальнейшем указываются страницы анализируемых работ.

народа и его культуры слышится знакомое уже нам противопоставление "высокого" чужого и "низкого" своего, одного из важнейших типологических признаков диглоссии» (с. 22).

Ц.-слав. язык, по Клименко, сам по себе не мог быть литературным языком Древней Руси, ибо "духовные ценности народ творит на родном языке, в противном случае это уже другой народ и другая культура" (с. 21),

Сама Клименко следующим образом характеризует языковую ситуацию Руси к моменту принятия христианства: "Очевидно, что в древнерусский период столкнулись и пришли в культурное взаимодействие лексико-семантические системы двух развитых и самобытных славянских литературных языков: древнерусского и старославянского" (с. 20).

В одной только области лексики различие между этими языками составляло, по мнению Клименко, не менее 50%. К сожалению, автор никак не комментирует эту цифру и не сообщает ее источника.

4.2. Опубликованные в том же сборнике статьи Колесова [Колесов 1986] и Русинова [Русинов 1986], хотя и очень критически оценивают модель Успенского, представляют, тем не менее (в особенности это относится к работе Колесова), вполне приемлемую базу для серьезной и научной дискуссии о применении теории Фергюсона к древнерусской (вост.-слав.) языковой ситуации. В рамках данной работы подробное их рассмотрение не представляется, однако, возможным⁵. Поэтому в дальнейшем мы остановимся лишь на четвертой антидиглоссийной статье сборника – "Почему в Древней Руси не было диглоссии" А.А. Алексеева [Алексеев 1986], являющегося также автором интересных разработок по специфике неcodифицированной предстандартной нормы — теме, рассмотрению которой посвящен один из следующих разделов нашего обзора.

4.3. Поскольку Алексеев уже год спустя пересмотрел свое мнение о диглоссии, отраженное в указанной статье, его позиция будет проанализирована несколько позже, сейчас же мы обратимся к своего рода ответу на антидиглоссийный блок названного сборника — статье "Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики", опубликованной в 1988 году [Гиппиус, Страхов, Страхова 1988]. Авторы ее, являясь убежденными сторонниками теории диглоссии, отмечают, вместе с тем, известный схематизм некоторых положений Успенского, подчеркивая в то же время модельный характер концепции. Последнее представляется им очень важным, ибо многие из противников диглоссии в полемическом пылу нередко забывают принципиально аппроксимативный характер всякой модели⁶. Справедлив, на наш взгляд, и упрек авторов в адрес противников диглоссии в некритическом и механическом переносе современного языкового восприятия на ситуацию Древней Руси (с. 40).

Менее убедительной кажется позиция авторов в вопросе так называемого делового языка. Так же, как сам Успенский, они исключают деловой язык из числа объектов исследования истории русского литературного языка, обосновывая это тем, что иначе "литературный язык" деградирует до "языка письменности". В ходе дальнейшего анализа мы еще обратимся к этой проблеме — проблеме определения экстенционального аспекта истории русского литературного языка и проблеме его обозначения.

4.4. Статья Д.-С. Уорта "On 'Diglossia' in Medieval Russia" была опубликована намного раньше, уже в 1978 году [Worth 1978]. Многие ее положения представляются, тем не менее, актуальными и сегодня. По мнению автора, диглоссия в Древней Руси существовала лишь *in potentia*. Главными препятствиями для ее развития он считает существование делового языка и так называемых смешанных текстов, слишком позднюю кодификацию русско-церковнославянского языка и несоблюдение принципа

⁵ Подробный анализ этих и других работ по диглоссии см. [Kretschmer 1994].

⁶ В определенной мере грешит этим, впрочем, и сам Успенский.

дополнительного функционального распределения. Аргументация Уорта заслуживает безусловного внимания. К сожалению, статья его в полемике о диглоссии в Древней Руси до сих пор остается практически незамеченной. Признавая справедливость многих аргументов Уорта, нельзя не упомянуть, однако, известной антиисторичности некоторых его постулатов. Так, например, используемые им понятия "норма", "кодификация" трактуются в статье в современном их понимании. То же относится и к тезису, согласно которому христианская письменность и язык языческой культуры восточных славян обладали в Древней Руси равным престижем. Гораздо большую значимость имеет, по нашему мнению, факт существования так называемых смешанных текстов, что, по Уорту, противоречит условиям диглоссийной ситуации. Тексты эти до сих пор рассматриваются весьма односторонне, причем главное внимание уделяется не центральному, на наш взгляд, вопросу общеславянского языкового материала (на всех языковых уровнях), а механическому подсчету полногласных (неполногласных) форм и других шахматовских дистинктивных ц.-слав. признаков — чтобы затем отнести данный текст к ц.-слав. или же русской (вост.-слав.) сфере.

4.5. Существование так называемого делового языка, на которое указывают как Уорт, так и другие критики диглоссийной модели Успенского, действительно представляет собой, на наш взгляд, один из самых серьезных аргументов против диглоссии, так как нарушает постулируемую как Фергюсоном, так и Успенским языковую бинарность. Интересную интерпретацию этого феномена предложил К.-Д. Зеemann [Seemann 1982; 1983]. Он исходит из того, что к моменту принятия восточными славянами христианства у них уже достаточно долгое время существовал устный язык права с устоявшейся нормой, который впоследствии был письменно зафиксирован. К сожалению, эти работы Зеemannа оставляют вне поля своего внимания вопрос о том, почему подобного феномена не было, например, у южных славян, где все письменные функции взял на себя язык церковнославянский. На наш взгляд, одним из возможных объяснений этому является принадлежность восточных и южных славян к областям влияния различных культурных ареалов: так, в отличие от южных славян, восточные славяне, помимо Византии, имели непосредственный и достаточно тесный контакт и со Скандинавией, также имевшей традицию языка на базе собственного идиома, а не латыни, литературного в собственном смысле слова языка.

4.6. Во многих отношениях представляют интерес также работы А.А. Алексеева по вопросам диглоссии, в особенности его переоценка собственной позиции по данному вопросу. В статье 1986 г. он еще решительно отрицает возможность существования диглоссии в Древней Руси [Алексеев 1986]. Полемика его при этом направлена не столько против Успенского, сколько против концепции самого Фергюсона⁷. Хотя с некоторыми положениями Алексеева нельзя не согласиться, аргументация его не всегда является убедительной. Так, например, крайняя ограниченность круга людей, активно владевших ц.-слав. языком, не является еще сама по себе серьезным аргументом против диглоссии. Узость (как количественная, так и социальная) базы носителей литературного языка является, напротив, одним из дистинктивных признаков донационального его периода, на что в свое время указывали уже лингвисты Пражского лингвистического кружка.

Большого внимания заслуживает аргумент Алексеева о нарушении дополнительного функционального распределения, которое сам Успенский считает важнейшим дистинктивным признаком диглоссии. Верифицируется этот аргумент, однако, на базе неадекватного языкового материала, как, например, хозяйственно-административной корреспонденции церкви, которая велась исключительно на вост.-слав. (др.-русск.) языке. Иными словами, Алексеев упускает из виду то обстоятельство, что дистинк-

⁷ Нельзя не указать на то, что некоторые работы как противников, так и сторонников древнерусской диглоссии вызывают сомнения в том, что авторы их знакомы с тезисами Фергюсона.

тивным признаком является не то, что автор и адресат были духовными лицами, а интенция данного вида письменности, сугубо прагматическая ее направленность. Церковь в России, особенно монастыри, являлась одним из крупнейших латифундистов, и деловая ее корреспонденция практически не отличается от соответствующей корреспонденции светских лиц⁸.

В качестве аргумента против существования диглоссии в Древней Руси Алексеев приводит и феномен делового языка. И здесь, хотя сам аргумент, как уже говорилось, безусловно весьма важен, интерпретация его вызывает, по меньшей мере, сомнения. Согласно Алексееву, деловой язык обладал таким же статусом, как и ц.-слав., и являлся маркированным членом данной оппозиции. За этим тезисом стоит постулат Алексеева о том, что ц.-слав. язык применялся лишь там, где применение вост.-слав. (др.-русс.) не было возможным. Тем самым деловой язык отождествляется с идиомом, что, на наш взгляд, не соответствует действительности, поскольку деловой язык в первую очередь являлся языком письменности, даже если ядро его, язык права, и сформировался в свое время на основе устной традиции. Нельзя не заметить, что некоторые положения Алексеева антиисторичны, что он иногда механистически переносит современное языковое восприятие на ситуацию Древней Руси, не учитывая при этом специфики русского средневековья. Так, например, как одно из условий диглоссийной ситуации он постулирует функционирование русско-церковнославянского как "средства общения (sic!) в установленной этикетом обстановке" феодальной верхушки Руси (с. 10).

В опубликованной годом позже статье "Пути стабилизации языковой нормы в России в XI—XVI вв." Алексеев уже не отрицает однозначно существование древнерусской диглоссии [Алексеев 1987]. Церковнославянскому здесь отводится роль литературного языка и маркированного члена в оппозиции ц.-слав.: вост.-слав. (др.-русс.), и даже отсутствие у него кодификации не является уже серьезным аргументом против диглоссии. Кодифицированную норму в этот период (до XVI в.) заменяет, по Алексееву, ориентация на признанные образцы, на образцовые тексты. Период с XI по XVI в. трактуется им как период сосуществования двух форм, двух литературных языков. Однозначного определения данной языковой ситуации автор, однако, не формулирует.

Особенного внимания заслуживают, на наш взгляд, два положения: о важной роли переводных текстов (вопрос, к которому мы в дальнейшем еще вернемся), а также высказывание о том, что, в сущности, не важно, "автохтонного или же чуждого происхождения письменный литературный язык" (с. 37).

4.7. Статья Г.Ю. Шевелева "Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации киевской Руси" [Shevelov 1987], хотя и ограничивается временными рамками киевского периода, представляет, тем не менее, несомненный интерес, поскольку свою концепцию сам Шевелев видит как дополнение к диглоссийной модели Успенского. Он констатирует модельный характер концепции, и, в связи с этим, принципиальную ее изменяемость. Важным является и его указание на гетерогенность как ц.-слав., так и вост.-слав. языков. Так, для ц.-слав. он называет, как минимум, три редакции (болгарскую, македонскую, моравскую), а в отношении вост.-слав., помимо филиации на различные вост.-слав. идиомы, отмечает еще и четкое (до 1240 г.) деление на северный и южный варианты. Принципиально важно и указание Шевелева на то, что самоопределение индивидуума в донациональный период происходит в первую очередь через критерий конфессиональной, а не этнической принадлежности. Признавая несомненную важность учета языкового восприятия конкретной эпохи как фактора анализа, он справедливо подчеркивает трудность получения соответствующей информации, источником которой, в первую очередь,

⁸ Это полностью подтверждают данные проведенного нами анализа крупного корпуса частной корреспонденции XVII и начала XVIII в., включающего значительное число грамоток духовных лиц (машинопись).

являются сами анализируемые памятники. В особой степени это относится к старшему периоду (с. 170).

Шевелев определяет языковую ситуацию Киевской Руси как моногlossию, чем объясняется, помимо прочего, и отсутствие переводов внутри языкового сообщества Киевской Руси (с. 171). "Классическая" же — в понимании Успенского — диглоссия существовала лишь в период непосредственно после принятия христианства. Постулат этот, однако, никак не развивается и не подкрепляется аргументами.

Тем не менее работа Шевелева стала, на наш взгляд, одной из важнейших в дискуссии о диглоссии. Одним из отличительных ее признаков является, помимо прочего, строгость аргументации, лишенная ненужной эмоциональности, глубокое знание предмета изложения, языкового материала и анализируемой эпохи. К несомненным достоинствам работы относится и то, что она, оперируя не одними лишь строго лингвистическими критериями, остается строго научной.

4.8. Неоднократно обращался к теме диглоссии и Г.А. Хабургаев. Особый интерес представляет в данной связи его статья "Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период)" [Хабургаев 1988]. Языковую ситуацию Древней Руси [которую, по его мнению, можно определить и как "гетерогенное одноязычие" (с. 56)] Хабургаев характеризует следующим образом: русско-церковно-славянский воспринимается обществом как кодифицированная разновидность собственного языка, что ведет к феномену переключения кода ("языковая установка" Успенского). Время распада этой ситуации для него совпадает с так называемым вторым южнославянским влиянием, т.е. наступает намного раньше, чем по Успенскому. Менее убедительной представляется интерпретация т.н. делового языка, существование которого уже само по себе является для автора доказательством существования диглоссии. При этом вне сферы его внимания остается уже упомянутый, центральный, на наш взгляд, вопрос об отсутствии у южных славян подобного феномена.

Не менее важной, чем тезисы Хабургаева в защиту древнерусской диглоссии, мы считаем его весьма убедительную полемику со сторонниками автохтонного развития русского литературного языка, являющимися, как правило, одновременно противниками концепции диглоссии. В отличие от них, Хабургаев последовательно учитывает в своих разработках тот факт, что концепция диглоссии представляет собой модель. Так, например, наличие локальных специфических черт в древнерусской языковой ситуации, которых нет в обследованных Фергюсоном диглоссийных ареалах, как и ограниченность круга лиц, владевших ц.-слав. языком, не являются еще для него, сами по себе, аргументами против существования диглоссии в Древней Руси. Вопрос определения типа культурно-языковой ситуации может, по Хабургаеву, "решаться лишь в результате анализа литературно-языкового сознания т.е.х, к т о в л а д е е т литературным языком (как активно, так и пассивно), ибо только для них реально существовала литературно-языковая система соответствующей эпохи" (с. 56 — выделено Хабургаевым. — А.К.). Часто выдвигаемый противниками диглоссии аргумент отсутствия кодифицированной нормы в ц.-слав. языке старшего периода также не учитывает, по мнению Хабургаева, исторической специфики анализируемой эпохи. По Хабургаеву, "литературный язык с самого начала своего появления осознается обществом как нормативный, что и выдвигает в центр проблематики истории литературных языков понятие л и т е р а т у р н о - я з ы к о в о й н о р м ы — орфографической, орфоэпической, грамматической и лексической" (с. 49 — выделено Хабургаевым. — А.К.). Хабургаев поддерживает здесь А.А. Алексеева и его постулат о центральном значении механизма стабилизации норм (тема, к рассмотрению которой мы обратимся несколько позже). Специфика объекта исследования должна учитываться, по Хабургаеву, и при лингвистическом анализе как таковом. В этой связи Хабургаев выступает против общепринятого с шахматовских времен метода подсчета определенных, в основном фонетических признаков, с полным правом указывая на общеславянскую базу как ц.-слав., так и вост.-слав. (др.-

русс.) языков. Одновременно он выдвигает весьма важное требование непереносимого учета данных переводных текстов в изучении истории русского литературного языка (с. 51).

Принципиально важным является, на наш взгляд, и указание на онтологические и функциональные различия между литературным языком донационального и национального периодов. Еще более важной представляется полемика против мифологизации некоторых центральных постулатов дискуссии о происхождении русского литературного языка. Так, Хабургаев отрицательно относится к трактовке неопределенного и расплывчатого понятия "народ" как субъекта в процессе создания (всякого) языка, распространенной, впрочем, не только в исторической русистике. Литературный язык является, по мнению Хабургаева, продуктом определенных социальных процессов, каким, например, является достижение этносом или социумом государственности. Внимания заслуживают и его тезисы о "своем" и "чужом" в языковом сознании общества, где генетические критерии играют — в отличие от традиции — лишь второстепенную роль. Нельзя не вспомнить в данной связи, как часто (в особенности это относится к сторонникам автохтонного развития русского литературного языка) не принимаются во внимание не только функциональные, но и структурные различия между языком стандартным (литературным) и разговорным языком повседневного общения. По мнению Хабургаева, при этом недопустимым образом смешиваются генетические и функциональные аспекты (с. 52).

Как видим, концепция Хабургаева, его оценка языковой ситуации допетровской Руси, несмотря на безусловную полемичность некоторых ее положений, предлагает интересные решения многих спорных вопросов.

4.9. Особую позицию в дискуссии о древнерусской диглоссии занимает Ю. Кристофсон [Kristophson 1989]. Для него модель Фергюсона-Успенского представляет собой недопустимый перенос структуралистских критериев на область человеческого поведения (с. 63). Одновременно в его статье дается критический анализ многих антидиглоссийных аргументов. В рамках данного обзора мы можем остановиться лишь на некоторых его положениях, заслуживающих, по нашему мнению, особого внимания. Культура, в особенности языковая культура (Sprachkultur), как и культурный язык (Kultursprache), сами по себе не могут являться продуктами автохтонного развития (с. 71). Так, именно тысячелетний процесс смешения и ассимиляции разнородных элементов сделал современный русский язык "одним из наиболее богатых и развитых славянских литературных языков" (с. 69). Целью научных исследований в данной области является для Кристофсона презентация целостности этого процесса, "своего рода телеология истории русской письменной культуры", а не субклассификация "на ди-, три- и полиглоссию" (с. 69). Безусловного интереса заслуживает и его интерпретация смешанных текстов, существование которых он объясняет тем, что каждый, умевший на Руси писать, умел это делать только по-церковнославянски (с. 66). В соответствии с этим наличие вост.-слав. элементов в текстах Кристофсон интерпретирует как попытку письменной фиксации устной речи (с. 67). Подобной точки зрения придерживается и Успенский. Интересными в данной связи представляются исследования С.И. Котова о специфике обучения скорописи, т.е. письменной технике на нецерковнославянской основе, имеющие, на наш взгляд, принципиальную важность, но не получившие до сих пор должного признания со стороны научной общности [Котков 1991].

4.10. Критическую позицию по отношению к диглоссийной модели занимает и М.И. Шапир [Шапир 1989]. Считая теорию диглоссии Успенского заслуживающей безусловного внимания и видя в ней важный стимул для научной дискуссии, Шапир ее, тем не менее, в настоящем ее виде отвергает. Языковую ситуацию Древней Руси в XI—XIV вв. он определяет как "двуязычие in potentia", которое переходит к представленному в XV—XVII вв. состоянию "двуязычия in actu" (с. 297). По мнению автора, такая его позиция обоснована тем, что важные дистинктивные признаки диглоссии, как, например, постулируемая Успенским оппозиция устный: письменный язык,

в Древней Руси отсутствуют⁹. Признавая правомерность его аргументации, нельзя, однако, согласиться с выдвигаемым им требованием рассмотрения феномена диглоссии лишь в плоскости письменного языка (с. 276).

Значительный интерес представляет тезис о существовании в Древней Руси социокультурного континуума и, как одного из элементов этого континуума, иерархического канона текстов (с. 291). Ссылаясь на новаторские разработки Н.И. Толстого по данному вопросу, сам автор, однако, постулирует указанный континуум лишь в границах русского (вост.-слав.) языкового ареала, тогда как для Толстого канон этот является специфической особенностью намного более широкого ареала *Pax Slavia Orthodoxa*. К рассмотрению этого феномена мы обратимся несколько позднее.

Обоснованной представляется, далее, и критика расплывчатости, нечеткости понятия "литературный язык", хотя используемые самим автором понятия "язык духовной культуры" vs. "язык быта" остаются также недефинированными [Шапир 1990]. Аргументы его в пользу существования нормы делового языка и постулируемая на этой основе нормированность вост.-слав. идиома намного менее убедительны [Шапир 1989: 283 et pass.]. Здесь имеет место не только априорное отождествление устного идиома с письменным деловым языком: автор слишком, на наш взгляд, некритически оперирует тезисами А.А. Зализняка, хотя и представляющими безусловный интерес, но имеющими пока лишь статус гипотезы [Зализняк 1982; 1982а; 1984; 1987; 1991].

4.11. Пожалуй, самый обширный анализ литературы по вопросам древнерусской диглоссии представлен в работе П. Редера "Diglossie in der Rus'" [Rehder 1989].

Обзор его включает даже работы по синхронной социолингвистике. Широта охвата литературы неизбежно ведет к известной схематичности и крайней сжатости изложения.

По мнению автора, Успенский слишком механистически и априорно применяет диглоссийную модель к языковой ситуации Древней Руси. Критика эта относится и к центральному для Успенского тезису о специфике языкового сознания эпохи. Однако и аргументация самого автора не может не вызвать возражений — например, тогда, когда он выдвигает требование строгости, которой никакая языковая ситуация средневековья обладать не может (с. 369). Критика его, тем не менее, во многом обоснованна. Это касается, в частности, указания на недостаточное внимание к собственно языковому анализу. Слабость эмпирической базы научной дискуссии о диглоссии, доказательством которой могут служить многочисленные работы на эту тему, на наш взгляд, является одной из главных причин необыкновенно низкой эффективности исследований в данной области. К сожалению, обзорный характер работы не дает автору возможности достаточно четко определить свое собственное видение специфики древнерусской языковой ситуации.

4.12. В дискуссии о существовании диглоссии в Древней Руси остается еще, как видим, много нерешенных вопросов. Одной из центральных является, по нашему мнению, проблема четкого определения объекта моделирования, т.е. языковой ситуации Древней Руси, в которой мы имеем дело, по крайней мере, с тремя величинами — литературным языком в собственном смысле, деловым языком и непосредственно материально (т.е. в облике текстов) не представленным устным идиомом (идиомами). Нельзя упускать из виду и того, что, как убедительно показал Шевелев, и сами названные величины не являются гомогенными целостными образованиями. Нам представляется в данной связи намного более важным четкое различение, разграничение этих величин, чем генетическая их характеристика. Существенными являются здесь следующие моменты: четкое разграничение как между деловым языком и идиомом, так и между донациональным и национальным литературным языком; определение сущности так называемых смешанных текстов; отказ от понятия

⁹ Как полагает Шапир, данные об устном языке исследуемой эпохи могут быть экстраполированы лишь из письменных текстов.

"литературный язык", обладающего нежелательными коннотациями, как и от диффузного понятия "народный язык". К центральному в данном аспекте вопросам относится и проблема пространственно-временной градации русской языковой истории. Много неясного остается еще и в вопросе языкового сознания и восприятия исследуемых эпох. Важнейшим источником такого рода информации являются, безусловно, исследуемые тексты, однако получение из них подобной информации, особенно для старшего периода, связано, как справедливо указывает Шевелев, с большими трудностями. Ни в коем случае недопустимым является здесь механическое применение а) современных и б) одних лишь лингвистических критериев при определении специфики языкового сознания прошлого. Остается пожалеть, что сам Успенский практически не участвует в дискуссии, вызванной его концепцией. Многие вопросы, таким образом, остаются открытыми, как, например, вопрос текстовой базы исследований. Поскольку проблема эта актуальна не только для дискуссии о диглоссии в Древней Руси, но и для дискуссии о происхождении и становлении русского литературного (стандартного) языка в целом, она будет рассмотрена в следующем разделе нашей работы, посвященном экстенциональным аспектам исследований.

5. Точное определение объекта исследований и отграничение его от других величин и феноменов является основным требованием всякой научной дисциплины. В отношении диахронной русистики требование это, однако, все еще не выполнено. Вопрос об определении объекта исследования в диахронной русистике неразрывно связан с вопросами терминологическими. Так, доминирующим — хотя и не дефинированным — понятием здесь до сих пор остается "литературный язык", границы которого, однако, весьма заметно варьируются, нередко — в зависимости от позиции конкретного автора. Такая, нежелательная в любой науке, терминологическая вариативность не может не иметь серьезных последствий. В данном случае она непосредственно и причинно связана с расплывчатостью и неопределенностью самого объекта исследования. В самом деле, под "литературным русским языком" может подразумеваться как любая письменная фиксация языка, так и язык одной лишь (художественной) литературы. Причем за различиями этими не всегда стоят лишь научные мотивировки — так, крайне широкое понимание границ русского литературного языка нередко имело в прошлом целью включить в исследуемый корпус как можно больше текстов смешанных, а также текстов делового языка, имеющего вост.-слав. (др.-русс.) языковую базу, и, тем самым, свести до минимума долю ц.-слав. элемента в истории русского литературного (стандартного) языка. Неудивительно поэтому, что такого рода концепции, стремящиеся каждое письмо, каждый указ отнести к области "литературного языка", в то же время, как правило, исключают из исследования весь корпус переводных текстов. В основе узкого понимания понятия "литературный язык" зачастую лежит — иногда даже неосознанное — отождествление "литературного языка" с "языком литературы", то, что несколько выше мы назвали нежелательными коннотациями. Такое понимание сущности и границ литературного языка не учитывает лингвоисторической специфики, охарактеризованной в работах пражских лингвистов уже более полувека назад. Ввиду принципиальной важности их постулатов считаем необходимым привести здесь хотя бы основные из них. Так, современный литературный (по терминологии Пражского кружка spisovný) язык есть феномен не только лингвистический, но и социальный. Он обладает кодифицированной нормой, поливалентен (полифункционален) и стилистически дифференцирован. Употребление этого языка является в границах ареала его распространения обязательным, хотя социальная база его и может быть достаточно узкой [Jedlička 1978: 53]. На основе работ пражских лингвистов А.В. Исаченко сформулировал в 1958 г. свои четыре дистриктивных признака современного литературного (по нашей терминологии "стандартного") языка: 1) поливалентность, 2) наличие кодифицированной нормы, 3) обязательность употребления и 4) стилистическая дифференцированность [Исаченко 1958: 42—45].

Пражскому лингвистическому кружку мы обязаны и первыми научными разработками по специфике донациональных литературных (по нашей терминологии "письменных") языков. Важнейшими их специфическими чертами являются: 1) отсутствие поливалентности, 2) наднациональный ареал распространения при одновременной крайней узости социальной базы носителей этих языков (клир и образованная элита общества), 3) "письменность" этих языков и их оппозиция устным идиомам как языками общения [Navránek 1963: 88, 346 и сл.].

Таким образом, письменный (литературный) язык средневековья — это язык письменной культуры для элиты этнически неоднородного общества. Язык этот может быть для носителей его и иностранным, вступая при этом в оппозицию с идиомами, что ведет к ситуации функционального двуязычия (т.е. функционального дополнительного распределения, что, по Успенскому, является важнейшим дистинктивным признаком диглоссии). Опираясь на эти работы пражских лингвистов, мы предлагаем отказаться от хронологически недифференцированного понятия "русский литературный язык", заменив его понятиями "письменный язык" в применении к допетровскому периоду и "стандартный язык" для современного русского языка как письменности, так и общения. Осознавая все недостатки предложенных терминов, мы, тем не менее, считаем последствия их употребления не столько значительными, как те, что происходят из обозначения сочинений Илариона и берестяных грамоток, летописей, романов Л.Н. Толстого и университетского курса по высшей математике одним и тем же понятием "русский литературный язык".

6. Вопрос определения границ объекта исследования неразрывно связан не только с терминологической проблематикой, но и со спецификой исследуемой эпохи. Многим мы обязаны здесь работам Д.С. Лихачева и его школы [Лихачев 1967; 1968; 1972; 1972а; 1979]. К сожалению, работы эти все еще лишь в крайне недостаточной мере учитываются в дискуссии о происхождении и путях развития современного русского стандартного языка. Одну из возможных причин этого мы видим в тенденции к ограничению языкознания от общепилологической традиции (вопрос, к которому мы еще вернемся в конце этой работы).

Наиболее важным, на наш взгляд, является постулат Лихачева о целостном характере средневековой культуры и вытекающее из этого требование целостного изучения данного феномена. С этим постулатом причинно связан центральный термин "стиль эпохи", охватывающий в (европейском) средневековье все проявления человеческой культуры [Лихачев 1968: 40 и сл.]. На этой основе Лихачев создает свою модель древнерусской культуры и литературы (насколько понятие литературы применимо к данной эпохе). Одним из дистинктивных признаков этой литературы является анонимность произведений, т.е. отсутствие индивидуального автора. С этим связан и феномен нечеткости, аморфности границ произведений, воспринимавшихся не как продукт индивидуального творчества, но как общее достояние культуры. Не менее важны и специфические черты православной культуры — так, чтение книг служит здесь не развлечению читающего, а спасению его души. Прямо связана с этим специфика канона древнерусской письменности, в которой беллетристика в современном значении появляется лишь к XVII в. Важен и вклад Лихачева в развитие (в определенном смысле, и реабилитацию) текстологии. В соответствии с нашей тематикой особого внимания заслуживает тезис о центральной роли текста в исследовании, как и о тесной связи между текстом и человеком, эпохой, всей ее мировоззренческой парадигмой [Лихачев 1962]. Специфике донациональной культуры и ее языка посвящены и многие работы Н.И. Толстого. В отличие от Лихачева, работы которого остаются в рамках древнерусской культуры, Толстой оперирует в значительно более широком масштабе так называемой *Pax Slavia Orthodoxa*, под которой понимается наднациональный целостный славянский ареал, обладающий общностью вероисповедания и культуры вообще, в том числе и общностью письменного языка [Толстой 1961; 1962; 1963; 1978; 1979; 1981]. Нижней его временной границей является соответствующее время принятия христианства православными славянами, верхняя

же граница сильно варьируется. В то время как для русских (и живущих на территории российской юрисдикции восточных славян) это примерно эпоха петровских реформ, для сербов, например, это начало, а для болгар конец XIX в. Понятие *Pax Slavia Orthodoxa* нередко употребляется в оппозиции к аналогичному понятию *Pax Slavia Latina*, которая, однако, представляет собой, по нашему мнению, значительно более однородное образование. Важнейшими дистинктивными признаками *Pax Slavia Orthodoxa* являются принадлежность к православному вероисповеданию и употребление ц.-слав. (в различных его местных редакциях) в качестве письменного языка. Существование ареала *Pax Slavia Orthodoxa* многими славистами ставится под сомнение. Один из главных контраргументов состоит в невозможности четкого отграничения подобного ареала — как во временном, так и в региональном и структурном отношении. При этом не принимается во внимание то, что культурный ареал такого рода по природе своей является континуумом, т.е. не может иметь четких границ.

Принципиально важной является и критика Толстым переноса сегодняшних языковых и национальных границ на сферу истории языка, в особенности недопустимого в отношении письменного языка. Примечательны в данной связи разработки Толстого в области реконструкции языкового сознания и восприятия славян прошедших веков, представляющие, к сожалению, редкое явление в диахронной русистике [Толстой 1976]. К чему игнорирование такого важного фактора может привести даже глубоких знатоков предмета, показывает следующее высказывание Л.П. Жуковской, постулирующей существование гомогенного этноса "древнерусов": "И для древнерусов в XI в. практически было неважно, что на близком языке говорили и те же книги использовали болгары, сербы и другие южнославянские народы. Для древнерусов это (= ц.-слав. — А.К.) был их собственный литературный язык" [Жуковская 1972: 75].

Сходную с Лихачевым позицию занимает Толстой и в отношении специфики стиля донациональных культур, который он рассматривает как закрытую систему, определяющую все области культуры, в том числе и языковую организацию текста. Тем самым он постулирует значительно более тесную, чем сегодня, связь между типом текста и его языком [Толстой 1977].

Позиции обоих ученых сходятся и в оценке ими статуса переводной литературы в истории русской культуры, литературы и письменного языка. Советская историческая русистика долгое время практически исключала этот корпус из круга своих интересов. Лихачев же многократно подчеркивал важность переводной письменности для адекватного понимания исторической специфики русской культуры и литературы. В данной связи нельзя не упомянуть его термины "культура-посредница" и "язык-посредник" — в отношении восточных славян и Киевской Руси это византийская культурная традиция и ц.-слав. письменный язык [Лихачев 1978: 19 и сл.]. На важность корпуса переводной письменности указывается и в работах других исследователей, как русской (Алексеев, Живов, Успенский и др.), так и зарубежных (Исаченко, Кайперт, Хюттль-Фолтер и др.) школ; к некоторым из этих работ мы в дальнейшем еще обратимся. Значимость переводных текстов отмечает и Толстой, с той, однако, разницей, что он оперирует понятием иерархического жанрового канона, практически общего во всей *Pax Slavia Orthodoxa* и сохраняемого на всем протяжении ее существования. Переводная письменность является для Толстого неотъемлемой составляющей этого канона. Примечательно, что одновременно весь корпус так называемого делового языка оказывается исключенным из канона, т.е. Толстой оперирует узким понятием "литературного языка", сближающимся с понятием "языка литературы". Сходную позицию в данном отношении занимают, впрочем, и многие другие, в том числе Лихачев и Успенский. Рассмотрению вопроса о статусе делового языка, вопроса, являющегося составной частью экстенсionalной проблематики исторической русистики, посвящен следующий раздел работы.

7. Так называемый деловой язык, т.е. письменный язык деловой, правовой и административной сфер, образовавшийся на вост.-слав. языковой базе, является специфици-

ческим восточнославянским феноменом. Трудно сказать, какой из этих дистинктивных признаков — интенциональный или языковой — обладает большей релевантностью. Релевантно, во всяком случае, то, что феномен этот по существу определяется *ex negativo* — как то, что не относится к области ц.-слав. культуры. В традиции советской русистики деловой язык относят к области литературного русского языка, а именно к его так называемому народно-разговорному типу. При ближайшем рассмотрении корпус деловых текстов оказывается, пожалуй, даже более разнородным, чем традиционный канон *Pax Slavica Orthodoxa* (в традиционной терминологии "книжно-письменный тип литературного языка"). Так, С.И. Котков и школа лингвистического источниковедения различают по меньшей мере три подтипа делового языка: 1) эпистолярный, 2) актовый и 3) статейный [Котков 1980: 74 et pass.], причем возможна и дальнейшая их субклассификация.

Котков предлагает и другую классификацию — на ядро (приказный язык) и периферию (деловой язык), которая, к сожалению, далее не развивается и не комментируется.

Как уже говорилось выше, принадлежность делового языка к области литературного языка признается далеко не всеми русистами, особенно теми, кто склонен к "узкому" определению "литературного языка". Мы уже указывали на расплывчатость и нечеткость этого общепринятого понятия. Если его отбросить и — по крайней мере, до тех пор, пока сущность и границы этого феномена не будут удовлетворительным образом определены — оперировать для донационального периода русской языковой истории понятием "письменный язык", трудности с определением статуса делового языка отпадают сами собой, поскольку принадлежность его к сфере письменного языка сомнений вызывать не может. Это не означает, однако, смешения существовавших в Древней Руси принципиально различных типов письменного языка. Но именно в интересах четкого их разграничения и определения недопустимо, на наш взгляд, исключение какого бы то ни было типа письменности из анализируемого корпуса. Лишь в процессе такого всеобъемлющего анализа возможна адекватная классификация различных типов письменности и письменных языков.

8. С проблемой определения объекта исследования диахронной русистики (как и с дискуссией о древнерусской диглоссии) тесно связан вопрос периодизации истории русского письменного *resp.* стандартного языка, в которой обычно выделяются следующие три периода: 1) киевский (XI—XIII вв.), 2) московский (XIV—XVI вв.), образующие вместе т.н. древнерусский период, и 3) период развитого, кодифицированного, национального (т.е., в нашей терминологии, "стандартного") языка, мнения о нижней временной границе которого заметно варьируются.

Связь этой схемы с периодизацией русской социально-политической истории более чем очевидна¹⁰. Сам по себе такой параллелизм вполне объясним — письменный (*resp.* стандартный) язык представляет собой в значительно большей степени явление, детерминированное социолингвистическими параметрами, чем устный идиом. Открытым здесь до сих пор остается вопрос о статусе XVII в. и Петровской эпохи. Большинство работ трактует XVII в. как конец древнерусской эпохи, относя XVIII в. к национальному периоду, — положение, которое практически не обосновывается и не комментируется авторами¹¹. Несколько более, чем обычно, дифференцированную схему исторического развития русского литературного языка предлагает А.И. Горшков, датирующий начало образования национального языка серединой — второй половиной XVII в., а конец этого процесса — пушкинской эпохой [Горшков 1984], причем особую роль в этом процессе он приписывает появлению и усилению во

¹⁰ Согласно Г. Кайперту, эта периодизация опирается не столько на данные социально-политической русской истории, сколько представляет собой историю русской литературы (в узком понимании этого термина) [Keipert 1982]. Не оспаривая этого, укажем здесь лишь на тесную связь социальной и культурной истории и, тем самым, истории литературы.

¹¹ Обзор соответствующей литературы см. [Kretschmer 1986: 1—59].

второй половине XVII в. так называемой "демократической литературы"¹², а также "решительному отходу от старых книжно-славянских традиций" (с. 155). Отход этот не означает, однако, прерывности литературно-языковой традиции. Напротив, Горшков подчеркивает ее последовательность и непрерывность: "Деление истории русского литературного языка на эпохи, периоды и подпериоды не означает, что между ними существуют разрывы традиции. Все смежные этапы истории языка связаны и соотнесены друг с другом" (с. 57). Одновременно идет процесс интеграции делового языка в систему языка литературного (с. 160), продолжающийся и в Петровскую эпоху, хотя и с некоторыми изменениями: "...в петровское время не просто изменялся состав литературного языка, а разрушались старые системные связи языковых единиц в пределах текста, создавались новые словесные ряды, которые пока еще не получали четкого композиционного оформления в сложном единстве целого" (с. 168). В послепетровское время, начиная с Кантемира, все более усиливается процесс сознательной и целенаправленной работы над русским литературным языком (с. 172 и сл.).

Несколько отличается от общепринятой и трактовка интересующих нас эпох у Б.А. Ларина, одного из лучших знатоков предмета. Центральную роль в процессе формирования современного русского литературного (стандартного) языка он отводит языку московских посадов, ставшему в XVII в. не только разговорным языком, но и языком литературы посадов [Ларин 1961; 1975]. Такое расширение сферы употребления устного по происхождению языка нарушает равновесие традиционной жанровой системы — традиционная оппозиция "церковная : светская письменность" нейтрализуется. Процесс этот усиливается в Петровскую эпоху, с ее характерной тенденцией к объединению языка письменности и устного языка общения. В послепетровское время направление развития меняется — социальная верхушка общества, ориентируясь на литературно-языковую модель Западной Европы, стремится к отграничению "своего" языка от языка народа. Таким образом, мы наблюдаем здесь неизвестное допетровской Руси социально-лингвистическое расслоение общества — явление, наблюдаемое в Западной и Центральной Европе столетиями раньше. Считаем необходимым подчеркнуть важность данного положения Ларина, поскольку названная специфическая черта социолингвистической ситуации допетровской Руси крайне редко принимается во внимание или хотя бы упоминается в научных работах. Согласно Ларину, развитый литературный (по нашей терминологии "стандартный") язык появляется в России лишь в пушкинское время. Сходную позицию в оценке литературного языка данной эпохи мы встречаем в большинстве работ по истории русского литературного языка. Между тем, литературный язык этого времени не обладает ни поливалентностью, ни обязательностью употребления, да и о кодификации его можно говорить лишь условно. Иными словами, сформулированные пражскими лингвистами и Исаченко дистинктивные признаки национального развитого литературного (= стандартного) языка здесь еще не представлены или же не представлены недостаточно четко — сходную ситуацию можно наблюдать и в Западной и Центральной Европе, имеющих к началу XIX в. развитые письменные, но не стандартные языки в современной их форме.

Отличную от вышеназванных позицию относительно периодизации истории русского литературного языка занимает А.В. Исаченко. В соответствии со своим постулатом прерывности русской литературно-языковой традиции он различает два независимых ее этапа, разделенные полувековой цезурой (1700—1750) [Issatschenko 1980, 1983]. Нельзя не упомянуть, что работы Исаченко относятся к тем нечастым исключениям, в которых рассмотрению языковых процессов Петровской эпохи уделяется достаточное внимание. Так, XVII в. для Исаченко представляет собой не период перехода от средневекового, донационального к национальному этапу языкового раз-

¹² Понятие, в истории как русского литературного языка, так и русской литературы весьма распространенное, но до сих пор удовлетворительным образом не определенное.

вития — точка зрения, общепринятая в советской русистике, — но маркирует конец древнерусской языковой истории. Ключевую роль в ходе дальнейшего развития Исаченко отводит петровскому времени, и именно его литературному "безъязычию", которое для Исаченко является доказательством прерывности русской литературно-языковой традиции и автономности ее этапов (с. 561). Остановимся кратко на некоторых других положениях Исаченко, представляющих для нашей тематики особенный интерес. Так, Исаченко постулирует принципиальные различия не только между литературным языком допетровской и послепетровской Руси, но и между вост.-слав. диалектами Киевской эпохи и русским языком XVII в. — различия, которые в литературе, как правило, упоминаются лишь вскользь. Безусловно важной является и экспликация социолингвистической гомогенности допетровского русского общества. То же относится и к выдвинутому Исаченко требованию — при анализе формирующегося нового литературного русского языка привлекать к анализируемому корпусу и такие тексты, которые, хотя и были созданы представителями образованных кругов, но не предназначались к публикации (мемуарная письменность, частная переписка и под.). Требование это Исаченко обосновывает тем, что между представленными в языковой полемике XVIII и начала XIX в. позициями соответствующих авторов и практикой их речевого употребления нередко наблюдается заметная разница (с. 563).

Значительное место занимает рассмотрение языковой ситуации анализируемого здесь периода в работах Б.А. Успенского, хотя в центре его внимания находится прежде всего XVII в., а также языковая полемика и языковое планирование XVIII и начала XIX в. [Успенский 1983; 1983а; 1985; 1987; 1994]. XVII в. является для него в первую очередь конечным этапом диглоссии, периодом ее распада и перехода сначала в нестабильное по природе своей двуязычие, а затем в моновязычие. Важную роль в этом процессе он отводит никоновской справе и третьему южнославянскому влиянию (роль которого в истории данного периода русского литературного языка подчеркивалась уже Шахматовым и Соболевским). Сущность этого влияния состоит в переносе на русскую почву (через украинско-белорусско-польское посредство) западноевропейской литературно-языковой и образовательной модели. Актуальная для польской культурной парадигмы оппозиция латынь : проста мова переносится и накладывается на оппозицию ц.-слав. : русский языки. Одновременно происходит передел функциональных сфер, причем имеют место нарушения диглоссийного принципа дополнительного функционального распределения указанных языков. В ходе этого развития возникает "гибридный ц.-слав. язык" [Успенский 1987: 329], феномен, под тем или иным названием упоминаемый также в работах Живова, Алексеева и Ремневой. К началу XVIII в. возникает ситуация уже не диглоссии, а двуязычия, что сопровождается социолингвистическим расслоением общества (с. 345). Сама Петровская эпоха характеризуется лишь в самых общих чертах: "Итак, в XVIII в. языковая ситуация радикально меняется, поскольку утверждается в своих правах новый русский литературный язык. Этот язык, с одной стороны, противопоставлен ц.-слав. языку, с другой же стороны, он принимает на себя функции ц.-слав. языка. Это амбивалентное отношение к ц.-слав. языку — противопоставленности и преемственности — определяет возможные направления эволюции русского литературного языка, который может развиваться как по пути отталкивания от ц.-слав. языка, так и по пути сближения с ним. Обе эти возможности и реализуются на различных этапах кодификации русского литературного языка" (с. 345).

Несколько более детально представлен анализ Петровской эпохи в работах В.М. Живова, который, однако (как, впрочем, и сам Успенский), больше внимания уделяет характеристике социокультурного фона данной эпохи и ее семиотической интерпретации, чем анализу самих языковых процессов и языковой ситуации¹³. Интересную модель периодизации русского литературного языка предложил А.А. Алек-

¹³ Напомним в данной связи сходную критику Редера [Rehder 1989]; ср. также позицию Й. Рекке в данном вопросе, изложенную в разделе 11 нашей работы.

сеев [Алексеев 1993]. Особенно важной представляется в данной связи экспликация специфики литературно-языковой истории и ее отличия от внутренней, системно-имманентной истории языка (с. 238). Исходя из постулата о принципиальной важности не только и не столько языковой нормы как таковой, сколько механизма ее стабилизации, Алексеев различает нормы рукописной письменности и письменности печатной. В соответствии с этим ключевым моментом русской литературно-языковой истории для него является начало книгопечатания, маркирующее конец первого периода этой истории. Второй ее период Алексеев подразделяет на следующие три этапа:

1) 1580—1730 гг. ("период кодификации церковнославянского языка с целью придать ему характер национального языка");

2) 1730—1830-е гг. ("период кодификации русской письменной речи [данное понятие автором не раскрывается. — А.К.] на основе разнообразных источников");

3) с 1830-х гг. ("период кодификации литературного языка, прежде всего в его устной форме, на основе образцового узуса") (с. 243 и сл.).

Первый и второй этап вместе образуют эпоху "перехода от литературного языка средневекового типа к литературному языку национального типа".

Как уже указывалось, особенную важность для Алексеева представляют механизмы, обеспечивающие стабильность языковой нормы и являющиеся принципиально различными для книгопечатной нормы, ориентирующей на языковое употребление образцовых текстов, и нормы кодифицированной. Для первой важнейшими факторами являются "независимость языка письменности от обиходного узуса, узость его социальной базы", для второй — "близость вплоть до тождественности к обиходной речи, тенденция к совпадению границ национального коллектива и языкового коллектива, пользующегося литературным языком". Рассмотрению проблематики нестандартной, некодифицированной нормы посвящен следующий раздел нашего обзора. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на одно, весьма, на наш взгляд, важное положение Алексеева о принципиальной неопределенности границ между отдельными этапами литературно-языковой истории, поскольку, по Алексееву, "новый период начинают те же люди и те же тексты, которые завершают старый". Своего рода ориентирами при определении таких границ могут, по его мнению, служить "такие исторически значимые события, которые по своей сущности уже не принадлежат прошлому, но знаменуют новое" (с. 240). С постулатом принципиальной размытости временных границ нельзя не согласиться, но предложенное Алексеевым определение ориентира для периодизации является, на наш взгляд, слишком нечетким, слишком зависимым от индивидуального восприятия и от индивидуального понимания историчности¹⁴.

Примечательна в данной связи принципиально отличная от общепринятой оценка языковой ситуации и языковой динамики Петровской эпохи у Алексеева. Если обычно в ней видят "новый период в истории литературного языка", то для Алексеева эта эпоха, напротив, знаменует собой конец определенного этапа развития русского литературного языка. Примечательно его обоснование такой позиции — по Алексееву, "именно в Петровскую эпоху противоречия достигли наибольшей остроты" (с. 242). Таким образом, новый этап развития начинается для него лишь в послепетровское время, с 1730-х гг., т.е. с деятельности Тредиаковского.

Укажем, наконец, на тезис Алексеева о "лингвистической многостильности" русского XVIII в., сменившей "лингвистическую многосистемность" предыдущих эпох, и на ее связь с упомянутым выше понятием "стиль эпохи" Лихачева и тезисом Толстого о стиле как замкнутой системе. Переход к "лингвистической многостильности" является для Алексеева выражением общей тенденции к формированию омнифункционального литературного языка (с. 242).

¹⁴ Важности понимания истории и историчности посвящена одна из новейших работ Й. Рекке [Raecke 1992], рассматриваемая в одном из следующих разделов нашего обзора.

Подводя итоги, нельзя не признать, что роль и статус как XVII в., так и петровского времени в истории письменного (стандартного) русского языка все еще остается открытым вопросом. По крайней мере, одну из причин этого мы видим в недооценке деловой письменности данной эпохи и проистекающей отсюда практике невключения соответствующих текстов в анализируемый корпус.

9. Обзор актуальной дискуссии по вопросам истории русского письменного (стандартного) языка не может оставить без внимания относительно новую, но весьма, на наш взгляд, важную область исследований, занимающуюся проблематикой предстандартной, некодифицированной нормы и ее спецификой. Данная тематика особенно широко представлена в работах А.А. Алексеева и М.Л. Ремневой. В рамках данного обзора возможна, конечно, лишь общая характеристика их позиций и центральных постулатов. Некоторые из тезисов Алексеева были уже упомянуты в связи с рассмотрением проблемы периодизации истории русского письменного (стандартного) языка, как, например, тезис о центральной роли механизма стабилизации нормы. По Алексееву, понимание этого механизма, "если оно достигнуто, позволит выработать методику первичной относительной оценки лингвистических фактов" [Алексеев 1987]. Различая названные два типа языковой нормы — ориентированной на образцы и кодифицированной, — Алексеев справедливо подчеркивает недопустимость переноса современных механизмов стабилизации нормы на языковую ситуацию прошлого. При этом он указывает на связь своей концепции о существовании предстандартной, некодифицированной, ориентированной на образцовые тексты нормы с понятиями "этикетный стиль" Лихачева и "стилистический ключ" Пиккио. Появление новой, кодифицированной нормы было, по Алексееву, вызвано следующими причинами:

- 1) появлением книгопечатания и исчезновением релевантной для предстандартной нормы традиции переписывания текстов;
- 2) уменьшением значения традиционного жанрового корпуса в связи с появлением новых переводных текстов;
- 3) расширением жанрового корпуса;
- 4) появлением строгой правописной нормы как последствием книгопечатания (с. 37 и сл.).

Известное влияние на смену норм оказала и античная грамматическая традиция (через посредство Ренессанса)¹⁵.

Алексеев уделяет большое внимание детальному анализу делового языка, его нормы и его статуса в системе русской письменности. Так, норма делового языка, в отличие от нормы ц.-слав., опирается не только на образцовые тексты, но и на "живое употребление", что, однако, не означает тождества письменного делового языка и устного идиома, являющегося менее стабильным и менее консервативным, чем всякий письменный язык (с. 41). Анализируя различия между деловым языком и мертвым ц.-слав., Алексеев приходит к выводу о том, что деловой язык "своей зависимостью от живого обиходного языка, онтологической вторичностью по отношению к нему, характером языковой нормы... сближается с современным литературным языком" (с. 41 и сл.). Тезис этот представляется особенно важным, поскольку вопрос о связи, об отношениях между современным русским стандартным языком и деловым языком допетровской Руси принадлежит к числу наиболее "проклятых", по выражению самого Алексеева, вопросов исторической русистики [Алексеев 1986]. Интересны и мысли Алексеева о соотношении ц.-слав. и русского языков в языковом сознании русского общества прошлого, конкретно, о специфике восприятия т.н. смешанных текстов. Восточнославянский языковой материал выступает здесь, по Алексееву, как маркированный элемент данной оппозиции, а языковая ситуация Древней Руси характеризуется соответственно как "письменное двуязычие", основанное на

¹⁵ Тезис этот автором, однако, не раскрывается. Не совсем ясным представляется и второй из выше-названных факторов.

принципе, согласно которому "все, что не нужно было писать по-русски, можно было писать по-церковнославянски" (с. 42). В данном вопросе Алексеев, таким образом, занимает позицию, прямо противоположную традиционной позиции русской (советской) школы, для которой маркированным членом оппозиции является — функционально строго ограниченный — ц.-слав. язык [Котков 1980 : 36]. Языковая ситуация на всем протяжении древнерусского (в традиционной терминологии) периода характеризуется, по Алексееву, сосуществованием двух языков (и соответственно двух норм), ц.-слав. и русского, причем постоянная их интерференция не ведет, однако, к созданию новой нормы, нового языка, поскольку представляет собой явление чисто внешнее, механическое (с. 44). Объединение норм в рамках единой лингвистической системы происходит лишь "в период образования нового литературного языка", т.е. в послеломоносовский период (с. 45). Доломоносовская же языковая ситуация представляет собой "особого рода конгломерат близкородственных и вместе с тем гетерогенных лингвистических структур" (с. 45) — дефиниция, на наш взгляд, весьма расплывчатая. Значительно более убедительна, по нашему мнению, полемика Алексева против сближения понятий "литературный язык" и "язык литературы": "Применение письменного языка в художественно-повествовательных целях не может рассматриваться как ведущий признак литературного языка, особенно для той эпохи, когда художественная литература как своеобразное явление культуры и вид художественного творчества отсутствовала или же ограничивалась рамками устного фольклора" (с. 45).

Работы Алексева по вопросам предстандартной языковой нормы представляют безусловный интерес, хотя некоторые из его постулатов и вызывают вопросы или требуют дальнейшей конкретизации. Детальный критический разбор его концепции в рамках нашего краткого обзора по понятным причинам невозможен. Укажем здесь лишь на некоторую априорность и схематичность предложенной им периодизации истории русского литературного языка и его нормы. Так, например, хотя появление книгопечатания и является безусловно релевантным фактором, конкретное воздействие его на систему языковой нормы нельзя, на наш взгляд, датировать уже моментом появления первых, единичных и не получивших на Руси широкого распространения печатных книг. Воздействие это имеет место лишь с появлением печатной книги как массового феномена, т.е. значительно позже, чем указывается Алексеевым дата 1530. Спорным является, как мы полагаем, и утверждение, что русский литературный язык в XVII в. сумел "вполне освободиться от влияния языковых образцов и перейти на кодифицированный грамматикой Мелетия Смотрицкого церковнославянский язык" (с. 38), поскольку конкретное воздействие, оказанное грамматикой Смотрицкого на языковую практику как XVII, так и XVIII вв., не является еще изученным в достаточной степени.

В то время как работы Алексева посвящены в первую очередь теоретическим вопросам изучения языковой нормы, в работах М.Л. Ремневой теоретико-методологические разработки опираются на данные эмпирические. Центральные положения ее концепции представлены в монографии "Литературный язык Древней Руси. Некоторые особенности грамматической нормы" [Ремнева 1988]. Согласно этой концепции, языковая ситуация допетровской Руси характеризуется дуализмом, оппозицией церковнославянского и русского (= деловой язык и устный идиом) языков и оппозицией соответствующих норм (с. 3 и сл.). Главная задача исследователя состоит, по мнению Ремневой, в выделении дистинктивных признаков этих норм и создании, тем самым, адекватной базы для научных исследований. Сама Ремнева ограничивается рамками лишь грамматической нормы, постулируя следующие ее дифференциальные признаки: 1) систему грамматических времен, 2) двойственное число, 3) повелительное наклонение, 4) *dativus absolutus*, 5) причинные конструкции, 6) условные конструкции.

Сюда же относятся и краткие/полные формы прилагательных и причастия. Этими признаками в своем анализе Ремнева, однако, не оперирует

Неясным остается вопрос о внутренней иерархии данного списка, о степени важности отдельных признаков.

В своей оценке древнерусской языковой ситуации Ремнева опирается на разработки Пражского лингвистического кружка, а также на работы Лихачева. Заметна и близость позиции автора к теории диглоссии Успенского. Так, Ремнева определяет отношение древнерусских книжников к русско-церковнославянскому как к кодифицированной разновидности собственного языка и постулирует между русско-церковнославянским и русским языками отношение дополнительного функционального распределения при одновременной их интерференции (с. 5). Аналогично и соотношение обеих языковых норм (с. 12).

Весьма важным кажется нам тезис Ремневой о том, что норма всегда представлена в конкретном тексте, который, таким образом, является непосредственным объектом исследования. В данной связи она отмечает роль образцовых текстов как стабилизирующего фактора для некодифицированной нормы.

Важным является и ее указание на изменяемость нормы во времени. Применительно к древнерусской ситуации изменяемость эта конкретно выражается в том, что характерная для Киевской Руси дуальность норм в XVII в. уже замещается их триадой. Полюсами этой триады по-прежнему являются строгая ц.-слав. норма и русская норма, связанная с первой лишь через систему грамматических времен, тогда как все остальные дистинктивные ц.-слав. признаки субституируются соответствующими русскими. Промежуточную позицию в этой триаде занимает гибридизированная, упрощенная ц.-слав. норма.

Ц.-слав. норма представляла собой, согласно Ремневой, "реально существующий социально-лингвистический феномен", а выступающие в функции ее стабилизаторов образцовые тексты "предопределяли строгость требований, несли в себе высокую степень императивности и характеризовались общественным признанием, опирающимся на традицию" (с. 32). Различия между узуальной нормой устного идиома и нормой литературного языка характеризуются для Ремневой тем, что "норма литературного языка является более сложным комплексом языковых средств, чем норма народного языка, так как функции литературного языка более развиты и строже разграничены, чем функции языка народного; наконец, норма литературного языка является более осознанной и более обязательной, чем норма народного языка, а требование ее стабильности — более настоятельным" (с. 4). В отличие от нее, норма делового языка "подвижна, подвержена изменениям и влиянию живого языка, наличие вариантных средств делает ее динамичной" (с. 7). Такая дефиниция нормы делового языка, определяемой *ex negativo*, в оппозиции к норме ц.-слав. языка, является, безусловно, довольно расплывчатой. Нельзя, однако, не признать, что наши знания о деловом языке и о динамике его нормы не оставляют возможностей для другого методологического решения данного вопроса. Поэтому обращение Ремневой к норме ц.-слав. языка как точке отсчета представляется оправданным — во всяком случае, на нынешнем уровне наших знаний о норме делового языка.

В заключение несколько критических замечаний. Не все свои положения Ремнева в достаточной степени подтверждает на текстовом материале; вообще желательным представляется расширение эмпирической базы концепции. Теоретическая база, напротив, разработана весьма детально, и в ней творчески используются различные тезисы и разработки как современной славистики, так и общей лингвистики, что, к сожалению, не всегда в достаточной степени обосновывается автором. Однако критика этих отдельных моментов никоим образом не умаляет принципиального значения этой новаторской концепции, представляющей собой первую попытку моделирования системы языковых норм для допетровского периода.

10. Большинство рассмотренных выше работ принадлежит русской (советской) школе. Значительный интерес к проблемам истории русского письменного (стандартного) языка заметен, однако, и в зарубежной славистике. Анализ некоторых из наиболее актуальных для нашей темы концепций современной славистики посвящены

следующие разделы нашего обзора; некоторые работы по древнерусской диглоссии были уже рассмотрены в предыдущих разделах. Упомянем здесь и работы Г. Хюттль-Фолтер по этому вопросу [Хюттль-Фолтер 1978]. Значительный вклад в историческую русистику представляют собой также ее исследования по синтаксису XVII в. и петровского времени, пожалуй, наименее разработанной области исторической русистики [Хюттль-Фолтер 1987; 1987a].

Выше уже указывалось на вопросы и проблемы, связанные с определением корпуса того, что традиционно обозначается как "русский литературный язык донационального периода", и на связанную с этим проблему определения статуса переводной письменности. О недопустимости исключения этих текстов из анализируемого корпуса многократно говорил в своих работах Г. Кайперт. Одна из них так и называется — "Русская языковая история как история перевода" [Keipert 1982]. Автор справедливо подчеркивает, что под историей русского литературного языка, как правило, понимается история древнерусской литературы (т.е. ставится знак равенства между "литературным языком" и "языком литературы"), причем круг анализируемых памятников весьма заметно варьируется. Так, из этого круга нередко оказывается исключенным весь корпус переводных текстов, который, по мнению Кайперта, как в количественном, так и в качественном отношении представляет собой одну из важнейших составляющих древнерусской письменности.

Кайперт постулирует следующие этапы творческого восприятия и интеграции иноязычных текстов в истории литературных языков: 1) употребление иностранного языка (иностраных текстов — А.К.), 2) использование чужих (т.е. заимствованных) переводов, 3) создание собственных переводов, 4) появление оригинальных текстов, 5) передача текстов другим языковым ареалам.

Таким образом, язык, культура, воспринимающие элементы другой культуры, сами впоследствии выполняют функции (по выражению Лихачева) языка-посредника и культуры-посредницы [Лихачев 1968]. На примере религиозно-церковных текстов Кайперт убедительно представляет все эти этапы в истории русской письменности. Важным является, далее, его требование о раздельном анализе отдельных функциональных сфер письменности (с. 72), что, по его мнению, позволит значительно увеличить эффективность исследования. На важность переводной письменности неоднократно указывала и Г. Хюттль-Фолтер [Хюттль-Фолтер 1987; 1987a]. Большое место занимает история русского письменного (стандартного) языка и в работах Д.С. Уорта [Worth 1977; 1978; Уорт 1975].

11. Несколько подробнее хотелось бы остановиться на двух недавно опубликованных работах Й. Рекке, дающих неожиданную интерпретацию некоторым центральным феноменам истории русской письменности и предлагающих новую трактовку центральных вопросов исторической русистики. Указывая в первой из них, посвященной сопоставительному анализу концепций Исаченко и Успенского по вопросам истории русского литературного языка [Raescke 1992], на принципиальную важность как правильной постановки вопросов, так и постановки правильных вопросов для научного прогресса, Рекке видит большую заслугу Исаченко именно в том, что тот в дискуссии по вопросам истории русского литературного языка поновому ставит хорошо, в общем, знакомые вопросы. Сам Рекке следующим образом формулирует центральные, по его мнению, вопросы истории русского литературного языка: 1) когда начинается история русского литературного языка? 2) по каким источникам она должна изучаться? 3) определение предмета данной истории, т.е. феномена "литературный язык" (с. 264)¹⁶.

Сравнивая позиции Исаченко и Успенского по этим вопросам, Рекке приходит к (несколько неожиданному) выводу — различия в их позициях вызваны различным

¹⁶ Как видим, в этом вопросе позиция Рекке близка к представленной в нашей работе — ср. нашу формулировку центральных вопросов истории русского письменного/стандартного языка (раздел 2 данной работы).

пониманием ими истории. По-разному оценивают они и феномен "литературного языка", сходясь, однако, в – интуитивном — восприятии признака "литературности" ("Literatursprachlichkeit"), центрального понятия концепции Рекке.

Для Исаченко история прежде всего есть процесс развития и изменения. Важным является для него требование относительного тождества объекта данного процесса. При этом объект в каждой последующей фазе развития и изменения хотя бы частично должен быть тождествен состоянию его в предшествующей фазе, хотя и допускается нетождество объекта в начальной и конечной фазах процесса (с. 255). Дистинктивным признаком исторического процесса для Исаченко, таким образом, является непрерывность. Нарушение ее, изменение объекта маркирует собой конец данного исторического процесса и начало нового. В этой связи понятной становится позиция Исаченко в вопросе о начале истории русского литературного языка. Поскольку он исходит из наличия цезуры в литературно-языковой вост.-слав./русской традиции, цезуры, вызванной сменой объекта развития, история русского литературного языка для него начинается лишь в послепетровское время.

Свое понимание сущности истории Успенский раскрывает не в монографиях по истории русского литературного языка, а в вышедшей недавно работе "Semiotik der Geschichte" [Uspenskij 1991]. Он различает *res gestae*, т.е. совокупность исторических событий, и *historia rerum gestarum*, т.е. историческую нарратацию, историю как нарративный текст (с. 5). В семиотической интерпретации это означает, что отдельные исторические факты сами по себе еще не создают истории, это делают участники исторических событий в контексте конкретной действительности. В равной степени важными являются при этом восприятие, оценка тех, кто оперирует историческими фактами, и тех, кто являлся непосредственным участником данных исторических событий. Таким образом, поскольку современники воспринимали, по Успенскому, ц.-слав. язык как "свой", он постулирует существование феномена "русский литературный язык" уже в XI в.

Сходными причинами Рекке объясняет и расхождения обоих ученых в вопросе о круге источников для изучения русского литературного языка (то, что мы выше назвали экстенциональным аспектом проблематики). Так, для Успенского в изучении истории русского литературного языка главным фактором является сознательная и направленная языкотворческая деятельность. В этой связи Рекке справедливо указывает на маргинальность языкового анализа как такового в работах Успенского, основное свое внимание уделяющего языковому восприятию соответствующей эпохи. Исаченко, напротив, главную роль отводит анализу памятников.

В оценке предмета истории русского литературного языка позиции Исаченко и Успенского, напротив, весьма сходны. Рекке объясняет это сходством их (интуитивной) оценки того, что он называет "литературностью" и считает важнейшим дистинктивным признаком литературного языка (с. 264). Так, Исаченко безусловно относит к сфере русского литературного языка тексты как Пушкина, так и Карамзина, хотя они и не обладают всеми признаками литературного (в нашей терминологии "стандартного") языка, сформулированными им самим [Исаченко 1958]. Подобным образом противоречит сам себе и Успенский, исключая нецерковнославянские тексты из сферы литературного языка. По определению самого Успенского, дистинктивными признаками литературного языка являются наличие осознанной нормы и овладение ею в процессе формального обучения. Наличие же нецерковнославянской письменности означает, согласно Рекке, наличие соответствующей нормы, поскольку любое письмо предполагает для него осознанный процесс обучения. Тем не менее, Успенский, по мнению Рекке, прав, исключая эти тексты из сферы литературного языка — в них отсутствует признак литературности.

В своем определении сущности этой "литературности" Рекке опирается на структуралистскую дихотомию языковой формы и языковой субстанции, относя при этом литературность к области формы. Таким образом, Исаченко, протестуя против применения понятия "русский литературный язык" к допетровскому периоду, имеет

в виду нерусскую языковую субстанцию языка древнерусской книжности. Другими словами, для Исаченко первичной является здесь языковая субстанция, а для Успенского — языковая форма. Понятие признака "литературности" как первичного помогает, по мнению Рекке, адекватно решить вопрос о начале русского литературного языка — он начинает существовать с появлением текстов, обладающих этим признаком. Более глубоко раскрывается сущность данного признака в следующей работе Рекке "Zu den möglichen Quellen einer Geschichte der (modernen) russischen Literatursprache" [Raecke 1993]. Базой для этого служит экспликация различий между текстами "устноязычными" и "литературноязычными", причем первые вполне могут быть представлены и в письменной форме — важно лишь отсутствие у них признака "литературности". В качестве такого рода письменных, но относящихся к сфере устного языка текстов Рекке приводит письмо Е.Б. Куракиной ее отцу, сподвижнику Петра I Б.И. Куракину (1725 г.) и свидетельские показания чиновника Дашкова (1737 г.). Не отрицая и в этой своей работе важности интуитивного восприятия литературности vs. нелитературности, Рекке предлагает модель для определения как наличия, так и степени литературности в текстах. Модель эта является результатом наблюдений, полученных им в ходе работы с различными типами текстов. Согласно его концепции, устно- и литературноязычные тексты показывают дистинктивные различия в отношениях между минимальными составляющими текста (т.е. словами в графическом смысле). Сюда относятся:

1) соотношение между количеством денотативных слов (W_{lex+}) и слов с другими, например, реляционными отношениями;

2) количественное соотношение отдельных частей речи (глагол, существительное, прилагательное, наречие¹⁷) как внутри группы денотативных слов, так и внутри текста в целом;

3) количество анафорических местоимений в тексте;

4) количественное соотношение лексем одиночных (W_{sing}), множественных (W_{mult}) и повторных (W_{rep})¹⁸; данное отношение рассматривается как в рамках целого текста, так и отдельных его сегментов¹⁹ с. 205 и сл.).

В исследованный Рекке корпус вошли следующие тексты: 1) текст, представляющий современную русскую разговорную речь (т.е. текст заведомо "устноязычный"); 2) начало "Бедной Лизы" Н.М. Карамзина; 3) начало пушкинского "Дубровского"; 4) вышеупомянутое письмо Е.Б. Куракиной; 5) вышеупомянутые свидетельские показания Дашкова; 6) частное письмо А.С. Пушкина; 7) частное письмо М.В. Ломоносова. В результате анализа было обнаружено, что для литературноязычных текстов характерными являются следующие признаки:

1) количественный перевес денотативных слов;

2) внутри этой группы — количественный перевес существительных;

3) незначительное число анафорических местоимений;

4) значительно большее количество одиночных лексем, нежели повторных.

В устноязычных текстах наблюдается прямо противоположное распределение названных дистинктивных элементов. В одном отношении устно- и литературноязычные тексты показывают, однако, большое сходство — соотношение одиночных и повторных лексем в начальных сегментах текста здесь почти идентично. Но в то время как соотношение это в литературноязычных текстах остается в значительной мере постоянным и в последующих сегментах, оно заметно меняется на протяжении текстов устноязычных.

¹⁷ В основном при этом рассматривается количественное соотношение между глаголами и существительными.

¹⁸ Граница между этими двумя группами проведена, на наш взгляд, недостаточно определенно.

¹⁹ Таким образом, Рекке вводит здесь в анализ фактор внутренней организации текста. Подобные факторы, к сожалению, в исследованиях по истории русского письменного/стандартного языка учитываются крайне редко.

Показательно, что, согласно данным анализа, признаком литературности обладают и частные письма как Пушкина, так и Ломоносова. Различия между ними лежат, по мнению Рекке, в плоскости не литературности (т.е. формы), а в плоскости языковой субстанции. Напротив, письмо Куракиной и показания Дашкова представляют собой для Рекке документы не литературного языка, а письменности, причем такой письменности, связь которой с устной речью еще очень ощутима. В этих текстах Рекке видит лишь письменную фиксацию устной речи. С этим, на наш взгляд, нельзя согласиться. Так, Рекке недостаточно учитывает здесь специфику как эпохи, так и исследуемых типов текста. Проведенное нами исследование значительного (более 1000) корпуса частных писем XVII в. и петровского времени показало наличие неожиданно четко выраженной и безусловно осознанной нормы для данного типа текста. Норма эта меняется лишь в послепетровское время, поэтому и неудивительны различия, установленные Рекке между письмами Пушкина и Ломоносова, с одной стороны, и письмом Куракина, с другой. Наличие таких различий не является, как мы полагаем, достаточным основанием для того, чтобы считать эти тексты простой письменной фиксацией речи. Вопросы вызывает и само понятие "литературности", которое представляется необоснованно суженным и обнаруживает тенденцию к отождествлению со сферой (художественной) литературы в современном смысле этого слова. Показательно в данном аспекте, что Рекке не включает в свой корпус ни одного из текстов традиционного жанрового канона Древней Руси. Между тем объективная оценка его тезисов невозможна вне учета этого корпуса. Полагаем, что заданная автором ориентация признака "литературности" на современное восприятие литературы автоматически (и априорно) задает и экстенциональные границы определяемого явления. Более адекватным представляется здесь тезис качественно различной "литературноязычности", причем желательно употреблять для данных целей обозначение, не обладающее в столь значительной степени излишними коннотациями.

Тем не менее выдвинутые Рекке дистинктивные признаки заслуживают безусловного внимания и представляют собой значительный вклад в еще неразработанную область методологии исследования предстандартных письменных текстов.

12. Последний из рассматриваемых здесь вопросов касается именно проблем методологии исследования и эмпирической его базы. Так, одну из основных причин недостаточной эффективности многолетней научной дискуссии о происхождении и истории русского литературного языка мы видим в ставшем уже почти традиционным отрыве теоретической дискуссии от эмпирической работы и вопросов ее методологии. На недостаточное внимание к эмпирии неоднократно указывал и С.И. Котков, основатель школы лингвистического источниковедения. Школе этой мы обязаны значительным количеством изданий текстов, дающих возможность всестороннего их анализа — как лингвистического, так и текстологического, в определенной степени и социолингвистического. Коткову мы обязаны и реабилитацией делового языка и детальными исследованиями в данной области. Рассмотрим основные положения этой школы, разработанные почти исключительно самим Котковым. Лингвистическое источниковедение он определяет как лингвистическую дисциплину, отграничивая его, тем самым, от сходных нелингвистических дисциплин (источниковедения, археографии, текстологии и т.п.). Общим для всех них является постулат о центральной роли конкретного текста и, тем самым, графической его манифестации.

Два понятия являются для лингвистического источниковедения центральными: лингвистическая содержательность и лингвистическая информационность. Первая определяется Котковым как "совокупность заключенных в источнике лингвистических данных, определяемая его содержанием и отношением данного источника к определенному лингвистическому образованию (языку, наречию, говору), а также степенью познания последнего", и представляет собой "понятие собственно языковое". Лингвистическая же информационность "представляет собой определяемую условиями образования источника степенью прямой и косвенной отраженности в нем лингвистической содержательности" и "имеет отношение прежде всего к

внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов, уровень и состояние звукозаписывающей техники и т.д.) [Котков 1980 : 10].

Задачей лингвистического источниковедения является исследование "лингвистической содержательности в соответствии с иерархией ее обусловленности содержанием источника, в направлении от непосредственной ко все более опосредованной, а также в исследовании лингвистической информативности в ее многообразной обусловленности культурой запечатления языка" (с. 10). Этим, в основном, и исчерпывается теоретико-методологическая база работы школы. Многое в этих определениях остается неясным или недостаточно четким. Сами дефиниции центральных понятий слишком размыты, недостаточно конкретны. Бросается в глаза и отсутствие их обоснования. Неясной остается связь данной концепции с общей языковой теорией, с другими дисциплинами диахронной лингвистики и славистики. Слишком большое внимание уделяется графической манифестации, центральная роль которой постулируется уже в определении лингвистической информативности, но никак не обосновывается. Сам по себе такой интерес к графической стороне текстов вполне объясним тем, что Котков большое внимание уделял вопросам русской исторической диалектологии, прежде всего соотношению северно- и южнорусских говоров в процессе образования русского литературного (стандартного) языка. И именно на примере анализа графических данных он неоднократно убедительно показывал, какие серьезные последствия для оценки языковой ситуации может повлечь за собой недостаточное знакомство с текстовым материалом [Котков 1963; 1980 : 76 и сл., 238 и сл.]. Такой интерес к графической (и к стоящей за ней фонетической) системе, сам по себе обоснованный, будучи возведен в абсолют, неизбежно ведет к односторонности анализа. Так, за пределами внимания оказываются практически весь синтаксис, значительные области лексики, морфологии. Недостаточно принимается во внимание и внутренняя организация текста. Отрицательно сказывается на эффективности исследовательской работы и априорная минимализация сферы и роли русско-церковнославянского языка и письменности. Так, по Коткову, собственно русская письменность "обслуживала всю совокупность общественно-экономических отношений, центральное и местное управление, межгосударственные связи, обыденное общение посредством грамоток и т.п. За церковнославянским языком оставалось обслуживание религиозного культа, а за отдельными элементами этого языка, преимущественно лексическими и фонетическими, — выполнение определенных стилистических функций в текстах, которые в основном были собственно русскими (челобитные, сатирические повести, грамотки и т.д.)" [Котков 1980 : 36]. Остается спросить, куда же относится практически весь традиционный жанровый корпус Древней Руси (*Rex Slavia Orthodoxa*)?

Серьезные недостатки демонстрируют и эмпирические работы школы. Недостатки эти во многом вызваны слабостью теоретической и методической базы. Теоретическая часть в работах, посвященных языковому анализу, представлена, в лучшем случае, ссылками на общие положения Виноградова и Коткова, в особенности на так называемый "народно-языковой тип" литературного языка. При этом нередко языковой анализ текста сводится к перечислению имеющихся в данном тексте признаков этого типа. Как правило, список анализируемых признаков не обосновывается, не раскрывается и внутренняя его иерархия. Отсутствует систематизация статистических данных, что затрудняет объективную оценку полученных результатов. Отсутствует и синтез, интерпретация этих результатов. Работы школы лингвистического источниковедения рассматриваются нами в отдельной работе (ср. прим. 8).

Заканчивая этот обзор, попытаемся проанализировать причины неудовлетворительного состояния как эмпирии, так и теоретических аспектов диахронной русистики. Одной из причин является уже упомянутый разрыв между теоретической дискуссией и практическим анализом, ставший своего рода традицией в исторической русистике. Теоретическая дискуссия оперирует тезисами, не проверенными на тексто-

вом материале; тем самым недостатки их остаются нераскрытыми, что ведет к серьезным недостаткам всей дисциплины в целом. С другой стороны, практическая аналитическая работа, не получая должной теоретической и методологической поддержки, вынужденно остается эклектичной и атомистичной. Одна из задач нашей работы и состояла в том, чтобы указать на этот порочный круг и на необходимость переориентации дисциплины в направлении интеграции теоретических, методологических и эмпирических ее аспектов. Особенно важными представляются в данной связи следующие моменты:

1) Ввиду значительных теоретических недостатков дисциплины неизбежным представляется примат эмпирической работы, дающий необходимый материал для разработки как теоретической базы исследования, так и его методологии.

2) Объектом исследования являются все типы письменных текстов, однако анализ должен проводиться — по крайней мере, на начальной стадии работы — в рамках конкретного типа текста.

3) Непосредственным объектом исследования является конкретный текст со всеми его как языковыми, так и экстралингвистическими признаками (в зависимости от типа текста возможна и иерархизация этих признаков).

4) Анализ должен проводиться методом хронологических срезов, начиная с древнейших эпох.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев А.А. 1986 — Почему в Древней Руси не было диглоссии // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Алексеев А.А. 1987 — Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2.
- Алексеев А.А. 1993 — Внутренняя хронология русского литературного языка // *Philologia slavica*. М., 1993.
- Виноградов В.В. 1958 — Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // IV Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1958.
- Гиппиус А.А., Страхов А.Б., Страхова О.Б. 1988 — Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики // Вестник МГУ. 1988. № 5.
- Горшков А.И. 1984 — Теория и история русского литературного языка. М., 1984.
- Ефимов А.И. 1957 — История русского литературного языка. М., 1957.
- Жуковская Л.П. 1972 — О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода // ВЯ. 1972. № 5.
- Зализняк А.А. 1982 — К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982.
- Зализняк А.А. 1982а — Противопоставление книжных и "бытовых" графических систем в древнем Новгороде // *Finitis duodecim lustris*. Таллин, 1982.
- Зализняк А.А. 1984 — Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М., 1984.
- Зализняк А.А. 1987 — О языковой ситуации в древнем Новгороде // *RLing*. 1987. V. 11.
- Зализняк А.А. 1991 — Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и *vice versa* // *RLing*. 1991. V. 15, № 3.
- Исаченко А.В. 1958 — Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов? // ВЯ. 1958. № 3.
- Клименко Л.П. 1986 — История русского литературного языка с точки зрения теории диглоссии / Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Колесов В.В. 1986 — Критические заметки о "древнерусской диглоссии" // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Котков С.И. 1963 — Южновеликорусское наречие в XVII столетии. М., 1963.
- Котков С.И. 1980 — Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.
- Котков С.И. 1991 — Старинная русская деловая письменность в ее отношении к литературному языку // Источники по истории русского языка XI—XVII вв. М., 1991.
- Ларин Б.А. 1961 — Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961.
- Ларин Б.А. 1975 — Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975.
- Лихачев Д.С. 1962 — Текстология. М., 1962.

- Лихачев Д.С. 1967 — Несколько мыслей о языке литературы и литературном языке Древней Руси // Историко-филологические исследования. М., 1967.
- Лихачев Д.С. 1968 — Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. М., 1968.
- Лихачев Д.С. 1972 — Русская литература XI—XVII вв. и процессы жанрообразования // Wiener slaw. Jahrbuch. 1972. Bd XVII.
- Лихачев Д.С. 1972а — Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII вв. // Русская литература. 1972. № 2.
- Лихачев Д.С. 1979 — Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.
- ЛЯДР 1986 — Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Ремнева М.Л. 1988 — Литературный язык Древней Руси: Некоторые особенности грамматической нормы. М., 1988.
- Русинов Н.Д. 1986 — Об устных нормах древнерусской литературной речи // Литературный язык древней Руси. Л., 1986.
- Толстой Н.И. 1961 — К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961. № 1.
- Толстой Н.И. 1962 — Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв. // Вопросы образования восточнославянских литературных языков. М., 1962.
- Толстой Н.И. 1963 — Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.) // Славянское языкознание: V Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1963.
- Толстой Н.И. 1976 — Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976.
- Толстой Н.И. 1977 — К историко-культурной характеристике "славяно-сербского" литературного языка // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
- Толстой Н.И. 1978 — Литературный язык сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание: История литературных языков и письменности. М., 1978.
- Толстой Н.И. 1979 — Литературный язык у сербов в конце XVII—начале XIX вв // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1979.
- Толстой Н.И. 1981 — Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (на материале сербскохорватского, болгарского и словенского языков) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.
- Унбегаун Б.О. 1970 — Происхождение русского литературного языка // Новый журнал. 1970. Т. 100.
- Унбегаун Б.О. 1971 — Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971.
- Уорт Д. 1975 — О языке русского права // ВЯ. 1975. № 2.
- Успенский Б.А. 1983 — Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский Б.А. 1983а — Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // Intern. journal of Slavic linguistics and poetics. 1983. V. 27.
- Успенский Б.А. 1985 — Из истории русского литературного языка XVIII—начала XIX века. М., 1985.
- Успенский Б.А. 1987 — История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München, 1987.
- Успенский Б.А. 1994 — Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М., 1994.
- Филин Ф.П. 1981 — Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
- Хабургаев Г.А. 1988 — Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период) // Вестник МГУ. 1988. № 2.
- Хюнтль-Уорт Г. 1968 — Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка // American contributions to the 6th International congress of slavists. V. 1. The Hague, 1968.
- Хюнтль-Уорт Г. 1973 — Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период // Wiener slaw. Jahrbuch. 1973. Bd XVIII.
- Хюнтль-Уорт Г. 1974 — О проблемах русского литературного языка XVIII—начала XIX вв. // Slovanskí spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974.
- Хюнтль-Фолтер Г. 1978 — Диглоссия в Древней Руси // Wiener slaw. Jahrbuch. 1978. Bd XXIV.
- Хюнтль-Фолтер Г. 1982 — Проблематика языкового наследия XVII в. в русском литературном языке нового времени (XVIII в.) // Wiener slaw. Jahrbuch. 1982. Bd XXVIII.
- Хюнтль-Фолтер Г. 1987 — Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // Wiener slaw. Jahrbuch. 1987. Bd XXXIII.
- Хюнтль-Фолтер Г. 1987а — О синтаксисе "Разсуждения о оказательствах къ міру" 1720 г. // RLing. 1987. V. 11.

- Шанир М.И.* 1989 — Теория "церковнославянско-русской диглоссии" и ее сторонники // *RLing*. 1989. V. 13. № 3.
- Шанир М.И.* 1990 — Язык быта / языки духовной культуры // *RLing* 1990. V. 14. № 2.
- Ferguson Ch.* 1959 — Diglossia // *Word*. 1959. V. 15.
- Havránek B.* 1963 — Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
- Hüttl-Folter G.* 1979 — Zusammenhänge zwischen dem sprachlichen Erbe und der neueren russischen Literatursprache // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1979. Bd XXV.
- Hüttl-Folter G.* 1987 — Zur Rolle des 17. Jhs. in der Sprachgeschichte Rußlands // *Sprache und Literatur Altrußlands: Aufsatzsammlung*. Münster, 1987.
- Issatschenko A.* 1980, 1983 — Geschichte der russischen Sprache. Heidelberg. Bd 1. 1980; Bd 2. 1983.
- Jedlička A.* 1978 — Die Schriftsprache in der heutigen Kommunikation. Leipzig, 1978.
- Keipert H.* 1982 — Russische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte // *Slavistische Linguistik*. 1981. München, 1982.
- Kretschmer A.* 1986 — Zur Diskussion um den Ursprung der russischen "literarnyj jazyk" (seit Ende der fünfziger Jahre). Hagen, 1986.
- Kretschmer A.* 1994 — Und noch einmal zur Diglossie // *Wiener slaw. Almanach*. 1994. Bd 33.
- Kristophson J.* 1989 — Taugt der Terminus "Diglossie" zur Beschreibung der Sprachsituation in der alten Rus'? // *Die slawischen Sprachen*. 1989. Bd 19.
- Picchio R.* 1962 — Die historisch-philologische Bedeutung der kirchenslavischen Tradition // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1962. Bd VII.
- Raecke J.* 1992 — Grundfragen und Fragestellungen zur Geschichte der russischen Literatursprache (bei Isačenko und Uspenskij) // *Slavistische Linguistik*. 1991. München, 1992.
- Raecke J.* 1993 — Zu den möglichen Quellen einer Geschichte der (modernen) russischen Literatursprache // *Slavistische Linguistik*. 1992. München, 1993.
- Rehder P.* 1989 — Diglossie in der Rus'? Anmerkungen zu B.A. Uspenskij's Diglossie-Konzeption // *Welt der Slaven*. 1989. Bd XXXIV. № 2.
- Seemann K.-D.* 1982 — Loguendum est russice & scribendum est slavonice // *Russia Medievalis*. T. V. 1982.
- Seemann K.-D.* 1983 — Die "Diglossie" und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland // *Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983*. Köln; Wien, 1983.
- Shevelov G.Yu.* 1987 — Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // *RLing*. 1987. V. 11.
- Uspenskij B.A.* 1991 — Semiotik der Geschichte. Wien, 1991.
- Worth D.S.* — Was there a "literary language" in Kievan Rus? // *Worth D.S. On the structure of Russian: Selected essays*. München, 1987.
- Worth D.S.* 1978 — On "diglossia" in Medieval Russia // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1978. Bd XXIII, № 2.